

Главное с ним уже произошло

DOI: 10.53953/08696365_2026_199_3_298

Ионова М. Гелий: роман.

М.: Стеклограф, 2025. — 276 с.

Прозаик Марианна Ионова занимает в современной русской словесности некоторую особенную, самосозданную нишу, которую, кажется, из ныне пишущих не разделяет с нею никто. Проследить генеалогию этой ниши, тоже вполне уникальную, при известном усилии возможно, по крайней мере один корень тут угадывается: это насквозь символическая проза Андрея Таврова (и если у него, умершего три года назад, остались какие-то продолжатели, то Ионова точно одна из них, а может быть, и единственная). По внешнему устройству их тексты как будто совсем непохожи, сходство тут глубже: в текстах обоих авторов дело как бы не совсем в том, что в них происходит, — при всей подробной внимательности к этому происходящему.



Подобно Таврову, Ионова умеет делать едва ли не мистическую прозу из совершенно как будто реалистичного, повседневного материала.

То есть: она ни словом не говорит о том, что стоит за наблюдаемой поверхностью жизни, бесконечно ее превосходя, указывая лишь на прозрачность материи существования, на ее непреодолимую странность, на плавное ее ускользание от окончательных и уверенных суждений, на невозможность обладания ею. Но судьба главного героя романа — именно об этом.

Предмет внимания Ионовой — особенно истонченные участки этой материи, разрывы, разломы, просветы. То, что в них, предположительно, можно было бы разглядеть, дано апофатически. Имени для него нет.

Вообще, это проза созерцания, а не действия. Сюжет тут, по самому большому счету, вторичен (хотя можно сказать и так: действие тут — разновидность созерцания). Само устройство этой прозы — род метафизического суждения. Без единой прямой формулировки на сей счет; ни у одного из персонажей, поглощенных своими земными заботами, включая главного героя, именем которого роман и назван, — нет об этих материях (о не дающейся взгляду основе жизни) ни единой мысли. Но сами они, все, — что-то вроде мыслей этой основы о самой себе.

Некоторые — особенно.

Более и парадоксальнее того: речь в романе заходит даже об актуальных — актуальнее некуда — событиях, о том, что еще не успело отодвинуться от нас на располагающую к основательному осмыслению дистанцию, — о коронавирусе и последующих исторических обстоятельствах; однако парадокс в том, что всех этих событий и обстоятельств, составляющих раму повествования, здесь как бы и нет. Никакого настоящего их осмысления не происходит — они именно что рама, в которую действию романа приходится вписываться, иногда отчасти на нее опираться. Так, роман начинается с того, что главный герой выходит из больницы после тяжелого ковида, — но, строго говоря, на месте ковида тут могла бы быть любая дру-

гая болезнь; дело не в ней, а в границе между двумя жизненными состояниями: тем, что осталось позади, и тем, которое еще предстоит создать и освоить. Ковид здесь лишь для того, чтобы изъять героя из прежних социальных координат и сделать его возвращение к ним невозможным: он, «сорокавосемилетний бывший моряк торгового флота», у которого «после только что перенесенной пневмонии от каждого легкого осталось по половинке» (с. 42), должен оставить флот и искать себе новое занятие и новое место в жизни. Он не очень торопится, и то, чем он станет заниматься, не так уж ему и важно.

Дело не только в его личных особенностях. При всем обилии подробностей, которые сообщает нам автор о жизни своих героев, социальное как бы ускользает от взгляда, оказывается в зоне не то чтобы слепоты, но чего-то вроде близорукости: очертания расплываются, взгляд соскальзывает. Плохо ли это? Будь перед нами традиционная реалистическая проза, в этом, пожалуй, можно было бы видеть недостаток. Но у этой прозы задачи другие. Тут перед нами явно иной тип прозаического мышления.

Очень коротко — и наверняка огрубленно — говоря, это история человека, который принципиально не вписывается в социальные матрицы, не совпадает ни с одной из них, — хотя вроде бы честно старается. Старается-то он старается, но ни одной из этих матриц внутренне не принадлежит, не может принадлежать, даже если хочет, — впрочем, он и хочет не особенно.

Это история (внимательное рассматривание, даже исследование) несводимости человека к его земным обстоятельствам, коренной, неустранимой непринадлежности им, которая вообще-то есть в той или иной мере в каждом, просто на примере некоторых она особенно видна. Назначение этих некоторых вообще, может быть, в том, чтобы делать эту несводимость и непринадлежность явной. Вот таков герой, именем которого назван роман и который, в свою очередь, назван именем солнечного — не вполне земного — вещества: Гелий.

На самых первых страницах книги, где автор и герой, кажется, еще только всматриваются друг в друга, осторожно и неторопливо нащупывают возможные способы будущего взаимодействия, Гелий, только что выйдя из ковидной больницы и медленно озираясь в первых часах своей новой жизни, признается (по всей видимости, самому себе): «Недавно я понял, почему мне не нужна цель и не скучно идти и идти по улицам. Я хожу по своему городу как турист. Для туриста важно все. Турист ничего не пропускает. Турист не хочет никуда попасть. Он уже там, где должен быть. Главное с ним уже произошло. Он — здесь» (с. 11).

Именно таков Гелий не только на улицах родного города, но во всех своих обстоятельствах: и в рабочих обязанностях, и в человеческих связях.

«А кем ты себя видишь, осторожно спросил Валя в день, когда меня выписывали. Кем-нибудь вроде бариста на удаленке с почасовой оплатой, ответил я неожиданно для себя и добавил: шутка. Тогда я еще не мог этого знать, а теперь знаю, что в идеале хотел бы заниматься тем, чем занимался предыдущие тридцать лет, только по-другому, — доставлять товары, проще говоря, хотел бы наняться курьером, но курьеры теперь все моторизованные, жаль, потому что с сухопутным транспортом у меня не сложилось. А мне бы только идти и идти с коробом за плечами, смотреть на это безумие, называемое жизнью и смертью, в его неподкупной чистоте...» (с. 42).

С таким уровнем личной сложности (видным уже на самой первой странице), с таким объемом начитанности (мы не раз убедимся, что она у Гелия — огромна и никоим образом не типична для моряка торгового флота, как и вся его личностная стилистика вообще), с такой тонкой богатой речью — хотеть быть баристой или курьером? Но на самом деле из логики его внутреннего устройства такое следует

напрямую. Даже удивительно, что он умудрился как-то вписаться и тридцать лет подряд вписываться в совершенно чуждые ему занятия и среду.

Он — *здесь*, но не больше; *здесь* — и этого исчерпывающего достаточно. Он не принадлежит ничему. Может быть, разве только — своей позиции отстраненного созерцателя. Только тому, чтобы «идти и идти с коробом за плечами, смотреть на это безумие, называемое жизнью и смертью, в его неподкупной чистоте...».

Примечательно, что в этом очень интересно смоделированном персонаже отстраненная созерцательность совершенно не означает, допустим, холодности, равнодушия, неучастия. В точности наоборот! Такое деятельное, бескорыстное, до самоотверженности, участие, какое Гелий принимает, скажем, в племяннике Диме, в случайной уличной знакомой Лизе, — вообще редкость меж людей. (Как-то это, чувствуется, связано с непринадлежностью. У *непринадлежного* не может быть корысти?)

У романа на разных его участках очень разные скорости и очень разная событийная плотность. Настолько, что впору подумать, будто это по меньшей мере два разных текста, существующие в значительной степени независимо друг от друга; обозначим их в рабочем порядке как «созерцательный» и «деятельный» (или, что, пожалуй, еще вернее, — как «внутренний» и «внешний»). Они не то чтобы соперничают друг с другом, они друг на друга даже не накладываются, между ними происходит резкое и внезапное переключение. Кстати, этому же соответствует и переключение повествования от первого лица к третьему и обратно: Гелий то говорит о себе сам, то вдруг нам начинает рассказывать о нем всевидящий объективный автор.

Думается, что «внутренний», «созерцательный» план здесь все-таки главный (есть сильный соблазн сказать, что он самодостаточен). Даже притом, что «внешнего», «деятельного» — по объему больше, и даже не всегда догадываешься, для чего автор затрачивает на него столько усилий.

Роман населен — в его «внешней» части — густо, можно даже, пожалуй, сказать — перенаселен. Некоторые персонажи, появившись, подвергнувшись тщательному описанию и продумыванию, обросши биографией со множеством деталей, с разветвленными человеческими связями, затем исчезают практически бесследно, не оказав никакого влияния на развитие событий в романе вообще и на жизнь Гелия в частности. Такова, например, целая группа персонажей, вовлекаемых в повествование в связи с другом Гелия Вале́й, — вначале много говорится о нем, о его работе над «подкастом о дизайне в Третьем Рейхе и почти на девять десятых — о Карле Дибиче, том самом разработчике эсэсовской униформы, он потом еще владел фарфоровой мануфактурой, где отливались среди прочего столь любимые Гиммлером церемониальные подсвечники, а потом еще вступил в дивизию «Мертвая голова»» (с. 12): исчезнут все, все, кто в эту тему втянут — кто появился в романе благодаря ей, — и Карл Дибич (упомянутый на весь роман всего-то трижды, и то вскользь), и «прекрасная Эдда», дочь Геринга, «кронпринцесса Третьего Рейха», с историей которой «носился» (с. 13) Валя, и даже Готфрид Кристиан фон Р., замороженный — «витрифицированный» — в 1940-х в Германии и размороженный в России в 2021-м, о котором Валя написал целый сценарий, и этот сценарий сюда полностью включен (автор — и сценарист — отдают себе отчет в значительном совпадении этой истории с «Авиатором» Водолазкина, в сценарии так и сказано: «Прямо как у Водолазкина...» (с. 19). Но зачем, зачем?..).

Персонажей из Третьего рейха не жаль, но такая романная судьба постигает не их одних (Валя из тех немногих, кто останется, — но на дистанции; скорее элементом фона, чем активной, формирующей события фигурой). И все это не призраки, напротив того, подробные, полнокровные люди с характерами и судьбами. Так и задумано?

Вообще же события романа, по существу, состоят в том, что все, кто был близок и важен Гелию, люди, каждый из которых составлял некоторую важную тему в его жизни, постепенно так или иначе от него отпадают. Любимая женщина, француженка (происхождение у нее более сложно-экзотическое: «родилась в Париже, но отец у нее швед, а мать наполовину француженка, наполовину малаяяли» (с. 51), хотя это, по существу, неважно) Виржини, с которой его много лет связывала содержательная (гораздо более содержательная, чем страстная) переписка, под предлогом начала известных исторических событий перестает выходить на связь с ним как с гражданином и резидентом России (не случись исторических событий, она, кажется, нашла бы другой предлог). Оттеснится на задний план вначале довольно активно присутствующий в романе брат-близнец Гелия Юра, Георгий, задуманный, по всей видимости, автором как полюс, противоположный главному герою: солнце-Гелий и земля-Георгий (замысел красивый, однако он тут не очень работает). Племянник Дима, общение с которым довольно внезапно начало, примерно во второй половине книги, выходить на передний план и обещало целую самостоятельную жизненную тему, решительно уходит от дядюшки в собственную личную жизнь (а заодно и от музыки, возможности заниматься которой для него добивался — и ведь добился! — Гелий. Дима и музыка — одна из многих сильных, но, кажется, немотивированно оборванных линий романа). Лиза, с которой Гелий — довольно осторожно, даже робко, и тем не менее — начинал связывать некоторые надежды на, может быть, хоть сколько-то общее будущее, — влюбляется в племянника Диму и отправляется за него замуж.

Гелий никого из них не удерживает. Ему в принципе чужды такие жесты. Разделение их происходит — при всей своей непредсказуемости — настолько естественно, что почти незаметно. Гелий, кажется, даже не чувствует всерьез протеста против происходящего. В самой глубокой глубине души он с этим согласен. Это ближайшим образом такая позиция — и в конечном счете такое естество.

Можно подумать, что, утратив и отпустив всех, с кем был связан, или, по крайней мере, существенно ослабив связи с ними, оставшись сотрудником районной библиотеки на должности, не имеющей ни малейшего отношения ни к его профессиональным умениям (неважно даже, до какой степени чуждым ему изначально — освоенным же), ни к его интеллектуальному уровню и степени его личной сложности, — Гелий потерпел поражение. Но нет. Куда скорее это выглядит как освоение. Как приближение, наконец-то, к самому себе.

«Я не древо, насаженное у вод. Я только каждый Божий день прохожу мимо древа по имени липа, и оно ко мне тянется, я увидел это раз и никогда не забуду. Поэтому, каждый Божий день проходя мимо, я говорю: “Я тоже тебя люблю”. Иногда я говорю это несколько раз подряд, до перекрестка. А на перекрестке сворачиваю к библиотеке» (с. 274).

Главное с ним уже произошло.